

Осип Мандельштам
Стихотворения

Из стихотворения «Камень»

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с дерева,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908 (66)

* * *

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое —
От неизбежного.

От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

1909 (67)

* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,—

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909 (67)

* * *

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

1909 (68)

* * *

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая,-
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

1909 (69)

* * *

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И, если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь — трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

1910 (70)

SILENTIUM

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ногу,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910, 1935 (70)

* * *

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
 И небо, мертвенней холста;
 Твой мир, болезненный и странный,
 Я принимаю, пустота!

1910 (71)

* * *

Из омута злого и вязкого
 Я вырос, тростинкой шурша,—
 И страстно, и томно, и ласково
 Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
 В холодный и топкий приют,
 Приветственным шелестом встреченный
 Короткиш осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
 И в жизни попожей на сон,
 Я каждому тайно завидую
 И в каждого тайно влюблен.

1910 (72)

* * *

Скудный луч холодной мерою
 Сеет свет в сыром лесу.
 Я печаль, как птицу серую,
 В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой ?
 Твердь умолкла, умерла.
 С колокольни отуманенной
 Кто-то снял колокола.

И стоит осиротелая
 И немая вышина,
 Как пустая башня белая,
 Где туман и тишина...

Утро, нежностью бездонное,
 Полу-явь и полу-сон,
 Забытье неутоленное,
 Дум туманный перезвон...

1911 (73)

* * *

Я вздрагиваю от холода —
 Мне хочется онеметь!
 А в небе танцует золото —
 Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
 Люби, вспоминай и плачь
 И, с тусклой планеты брошенный,
 Подхватывай легкий мяч!

Так вот она — настоящая
 С таинственным миром связь!
 Какая тоска щемящая,
 Какая беда стряслась!

Что, если, вздрогнув неправильно,
 Мерцающая всегда,
 Своей булавкой заржавленной
 Достанет меня звезда?

1912, 1937 (77)

Петербургские строфы

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
 Кружилась долго мутная метель,
 И правовед опять садится в сани,
 Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
 Зажглось каюты толстое стекло.
 Чудовищна, как броненосец в доке,—
 Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
 Адмиралтейство, солнце, тишина!
 И государства жесткая порфира,
 Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
 Онегина старинная тоска;
 На площади Сената - вал сугроба,
 Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
 Морские посещали склад пеньки,
 Где продавая сбитень или сайки,
 Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
 Самолюбивый, скромный пешеход —
 Чудак Евгений — бедности стыдится,
 Бензин вдыхает и судьбу клянет !

1913 (84)

* * *

Мы напряженного молчанья не выносим —
 Несовершенство душ обидно, наконец!

И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал
незримо:

Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье — суета и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

1913, 1937 (87)

Кинематограф

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне —
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
 Еще достаточно отваги
 Похитить важные бумаги
 Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
 Чудовищный мотор несется,
 Стрекочет лента, сердце бьется
 Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
 В автомобиле и в вагоне,
 Она боится лишь погони,
 Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
 Цель не оправдывает средства!
 Ему — отцовское наследство,
 А ей — пожизненная крепость!

1913 (89)

Ахматова

Вполоборота, о, печаль,
 На равнодушных поглядела.
 Спадая с плеч окаменела
 Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
 Души расковывает недра:
 Так — негодующая Федра —
 Стояла некогда Рашель.

1914 (93)

Равноденствие

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
 В тонических стихах единственная мера,
 Но только раз в году бывает разлита
 В природе длительность, как в метрике Го-
 мера.

Как бы цезурою зияет этот день:
 Уже с утра покой и трудные длинноты,
 Волы на пастбище и золотая лень
 Из тростника извлечь богатство целой ноты.

1914 (95)

* * *

Я не слышал рассказов Оссиана,
 Не пробовал старинного вина;
 Зачем же мне мерещится поляна,
 Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
 Мне чудится в зловещей тишине;
 И ветром развеваемые шарфы
 Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
 Чужих певцов блуждающие сны;
 Свое родство и скучное соседство
 Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
 Минуя внуков, к правнукам уйдет,
 И снова скальд чужую песню сложит
 И как свою ее произнесет.

1914 (98)

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
 Я список кораблей прочел до середины:
 Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
 Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
 На головах царей божественная пена, —
 Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
 Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.
 Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
 И море черное, витийствуя, шумит
 И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915 (104)

Из стихотворения «Tristia»

* * *

Золотистого меда струя из бутылки текла
 Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
 — Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
 Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
 Сторожа и собаки, — идешь, никого не заметишь.
 Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
 Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный, коричневый сад,
 Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
 Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
 Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
 Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
 В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
 Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
 Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
 Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
 Не Елена — другая, — как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
 Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
 И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
 Одиссей возвратился пространством и временем
 полный.

1917 (116)

* * *

Сёстры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
 Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
 Человек умирает. Песок остывает согретый,
 И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,
 Легче камень поднять, чем имя твое повторить!
 У меня остается одна забота на свете:
 Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
 Время вспахано плугом, и роза землею была.
 В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
 Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!

1920 (126)

Феодосия

Окружена высокими холмами,
 Овечьим стадом ты с горы сбегашь
 И розовыми, белыми камнями
 В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
 Качаются разбойничьи фелюги,
 Горят в порту турецких флагов маки,
 Тростинки мачт, хрусталь волны упругий

И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя, —
Оно пропало — больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,
И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятие нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цырюльника летающая скрипка
И месмерический утюг — явление
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие, в челках,
Обдумывают странные наряды
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко от Смирны и Багдада,

Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1920 (127)

Ласточка

Я слово позабыл, что я хотел сказать.

Слепая ласточка в чертог теней вернется

На крыльях срезанных, с прозрачными иг-
рать.

В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет,

Прозрачны гривы табуна ночного,

В сухой реке пустой челнок плывет,

Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет как бы шатер иль храм,

То вдруг прикинется безумной Антигоной,

То мертвой ласточкой бросается к ногам

С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,

И выпуклую радость узнаванья.

Я так боюсь рыданья Аонид,

Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать,

Для них и звук в персты прольется,

Но я забыл, что я хочу сказать,

И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,

Все ласточка, подружка, Антигона...

И на губах, как черный лед, горит

Стигийского воспоминанье звона.

1920 (130)

* * *

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услышать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок —
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в
солнце.

1920 (131)

* * *

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,

Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву, палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920 (136)

Стихи 1921–1925 годов

* * *

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,—
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Всё чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922 (141)

* * *

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась, —
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь — разбудить;

Раскидать бы за стогом стог,
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась

Через век, сеновал, сон.

1922 (142)

Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческий земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,
Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!

И с бессмысленной улыбкой
 Вспять глядишь, жесток и слаб,
 Словно зверь, когда-то гибкий,
 На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
 Горлом из земных вещей,
 И горячей рыбой плещет
 В берег теплый хрящ морей.
 И с высокой сетки птичьей,
 От лазурных влажных глыб
 Льется, льется безразличье
 На смертельный твой ушиб.

1922 (145)

1 января 1924

Кто время целовал в измученное темя, —
 С сыновьей нежностью потом
 Он будет вспоминать, как спать ложилось время
 В сугроб пшеничный за окном.
 Кто веку поднимал болезненные веки —
 Два сонных яблока больших, —
 Он слышит вечно шум — когда взревели реки
 Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
 И глиняный прекрасный рот,
 Но к млеющей руке стареющего сына
 Он, умирая, припадет.
 Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
 Еще немного — оборвут
 Простую песенку о глиняных обидах
 И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умирание века!
 Боюсь, лишь тот поймет тебя,
 В ком беспомощная улыбка человека,

Который потерял себя.

Какая боль — искать потерянное слово,

Больные веки поднимать

И с известью в крови, для племени чужого

Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына

Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,

И некуда бежать от века-властелина...

Снег пахнет яблоком, как встарь.

Мне хочется бежать от моего порога.

Куда? На улице темно,

И, словно сыплют соль мощною дорогой,

Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,

Недалеко, собравшись как-нибудь, —

Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,

Все силюсь полость застегнуть.

Мелькает улица, другая,

И яблоком хрустит саней морозный звук,

Не поддается петелька тугая,

Все время валится из рук.

Каким железным скобяным товаром

Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,

То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром

Из чайных розовых — как серебром плотвы.

Москва — опять Москва. Я говорю ей: здравствуй!

Не обессудь, теперь уж не беда,

По старине я принимаю братство

Мороза крепкого и щучьего суда.

Пылает на снегу аптечная малина,

И где-то щелкнул ундервуд,

Спина извозчика и снег на пол-аршина:

Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.

Зима-красавица, и в звездах небо козье

Рассыпалось и молосом о мерзлые полозья

Вся полость третя и звенит.

А переукочки коптили керосинкой,
 Глотали снег, малину, лед,
 Все шелушиться им советской сонатинкой,
 Двадцатый вспоминая год.
 Ужели я предам позорному злословью —
 Вновь пахнет яблоком мороз —
 Присягу чудную четвертому сословью
 И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
 Какую выдумашь ложь?
 То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
 У щучью косточку найдешь;
 И известковый слой в крови больного сына
 Растает, и блаженный брызнет смех...
 Но пишущих машин простая сонатина —
 Лишь тень сонат могучих тех.

1924, 1937 (152)

* * *

Нет, никогда, ничей я не был современник,
 Мне не с руки почет такой.
 О, как противен мне какой-то соименник,
 То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
 И глиняный прекрасный рот,
 Но к млеющей руке стареющего сына
 Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
 Два сонных яблока больших,
 И мне гремучие рассказывали реки
 Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
 Складная легкая постель,
 И странно вытянулось глиняное тело, —

Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового —
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, — а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

1924 (154)

Из стихотворения «Московские стихи»

Импрессионизм

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловой,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,—
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932 (188)

Батюшков

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
— Ни у кого — этих звуков изгибы...
— И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык,
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

18 июня 1932 (189)

Ариост

В Европе холодно. В Италии темно.
 Власть отвратительно, как руки брадобрея.
 О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
 На Адриатику широкое окно.

Над розой мускусной жужжание пчелы,
 В степи полуденной — кузнечик мускулистый.

Крылатой лошади подковы тяжелы,
 Часы песочные желты и золотисты.

На языке цикад пленительная смесь
 Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
 Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
 Он мужественно врет, с Орландом куролеса.

Часы песочные желты и золотисты,
 В степи полуденной кузнечик мускулистый

—
 И прямо на луну влетает враль плечистый...

Любезный Ариост, посольская лиса,
 Цветущий папоротник, парусник, столетник,
 Ты слушал на луне овсянок голоса,
 А при дворе у рыб — ученый был советник.

О, город ящериц, в котором нет души, —
 От ведьмы и судьи таких сынов рожала
 Феррара черствая и на цепи держала,
 И солнце рыжего ума взошло в глуши.

Мы удивляемся лавчонке мясника,
 Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,
 Ягненку на дворе, монаху на осяти,
 Солдатам герцога, юродивым слегка
 От винопития, чумы и чеснока, —

И свежей, как заря, удивлены утрате...

Май 1933, июль 1935 (195)

* * *

Мы живем под собою не чуя страны,
 Наши речи за десять шагов не слышны,
 А где хватит на полразговорца,
 Там припомнят кремлевского горца.
 Его толстые пальцы, как черви, жирны,
 И слова, как пудовые гири, верны,
 Тараканьи смеются глазища
 И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
 Он играет услугами полулюдей.
 Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
 Он один лишь бабачит и тычет,
 Как подкову, дарит за указом указ —
 Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому
 в глаз.

Что ни казнь у него — то малина
 И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933 (197)

* * *

Квартира тиха, как бумага —
 Пустая, без всяких затей, —
 И слышно, как булькает влага
 По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
 Лягушкой застыл телефон,
 Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать —
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю,
И грозные баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Таковую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать,
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933 (197)

Из стихотворения «Воронежские стихи»

* * *

Это какая улица?
 Улица Мандельштама.
 Что за фамилия чертова —
 Как ее ни вывертывай,
 Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного.
 Нрава он не был лилейного,
 И потому эта улица
 Или, верней, эта яма
 Так и зовется по имени
 Этого Мандельштама...

Апрель 1935 (213)

* * *

Не сравнивай: живущий несравним.
 С каким-то ласковым испугом
 Я соглашался с равенством равнин,
 И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
 Ждал от него услуги или вести,
 И собирался в путь, и плавал по дуге
 Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
 И ясная тоска меня не отпускает
 От молодых еще, воронежских холмов
 К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

18 января 1937 (232)

* * *

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами.

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей.

21–22 января 1937 (234)

* * *

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А теперь куда хочешь влеки —

В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губки жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937 (235)

Куда мне деться в этом январе?
 Открытый город сумасбродно цепок...
 От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
 И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
 И улиц перекошенных чуланы —
 И прячутся поспешно в уголки
 И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
 Скольжу к обледенелой водокачке
 И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
 И разлетаются грачи в горячке —

А я за ними ахаю, крича
 В какой-то мерзлый деревянный короб:
 — Читателя! советчика! врача!
 На лестнице колючей разговора б!

1 февраля 1937 (236)

* * *

Как светотени мученик Рембрандт,
 Я глубоко ушел в немеющее время,
 И резкость моего горящего ребра
 Не охраняется ни сторожами теми,
 Ни этим воином, что под грозой спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат
 И мастер и отец черно-зеленой теми, —
 Но око соколиного пера
 И жаркие ларцы у полночи в гареме
 Смущают не к добру, смущают без добра
 Меха́ми сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937 (238)

* * *

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
 И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
 Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
 Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
 А грудь стесняется, — без языка — тиха:
 Уже не я пою — поет мое дыханье —
 И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная — сама себе хвала:
 Утеха для друзей и для врагов — смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха, —
 Одноголосый дар охотничьего быта, —
 Которую поют верхом и на верхах,
 Держа дыханье вольно и открыто,
 Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
 На свадьбу молодых доставить без греха.

8 февраля 1937 (239)

* * *

Вооруженный зреньем узких ос,
 Сосущих ось земную, ось земную,
 Я чую все, с чем свидетелю пришлось,
 И вспоминаю наизусть и всеуе.

И не рисую я, и не пою,
 И не вожу смычком черноголосым:
 Я только в жизнь впиваюсь и люблю
 Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
 Заставить — сон и смерть минуя —
 Стрекало воздуха и летнее тепло

Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937 (239)

* * *

Я скажу это начерно, шепотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937 (247)

* * *

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответ!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,

Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь!

9-19 марта 1937 (248)

* * *

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом, —

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом, —
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо-тихо его мне прочти...

15 марта 1937 (249)

Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин

Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, —

Древность летняя, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов —
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, —
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд, —
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек, —
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка

Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937 (250)

* * *

О, как же я хочу,
 Нечуемый никем,
 Лететь вослед лучу,
 Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись, —
 Другого счастья нет —
 И у звезды учись
 Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
 Он только тем и свет,
 Что шепотом могуч
 И лепетом согрет.

И я тебе хочу
 Сказать, что я шепчу,
 Что шепотом лучу
 Тебя, дитя, вручу...

23 марта – начало мая 1937 (252)

Стихотворения разных лет

* * *

От легкой жизни мы сошли с ума:
 С утра вино, а вечером похмелье.
 Как удержать напрасное веселье,
 Румянец твой, о нежная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
 На улицах ночные поцелуи,
 Когда речные тяжелеют струи
 И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
 Но я боюсь, что раньше всех умрет
 Тот, у кого тревожно-красный рот
 И на глаза спадающая челка.

1913 (288)

Автопортрет

В поднятьи головы крылатый
 Намек — но мешковат сюртук;
 В закрытьи глаз, в покое рук —
 Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
 И слова пламенная ковкость, —
 Чтоб прирожденную неловкость
 Врожденным ритмом одолеть!

1914 (1913?) (295)

Телефон

На этом диком страшном свете
 Ты, друг полночных похорон,
 В высоком строгом кабинете
 Самоубийцы — телефон!

Асфальта черные озера
 Изрыты яростью копыт,
 И скоро будет солнце — скоро
 Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон:
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок — и закружились сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон!

Июнь 1918 (303)